

Константин
ВОРОБЬЕВ

*Вот пришел
великан*



Константин Воробьев

Друг мой Момич

«ЭКСМО»

1965

Воробьев К. Д.

Друг мой Момич / К. Д. Воробьев — «Эксмо», 1965

© Воробьев К. Д., 1965

© Эксмо, 1965

Содержание

1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Константин Дмитриевич Воробьев

Друг мой Момич

1

Узорно-грубо и цепко переплелись наши жизненные пути-дороги с Момичем. Сам он – уже давно – сказал, что они «перекрутились насмерть», и пришло время не скрывать мне этого перед людьми.

...Мимо нашего «сада» – три сливины, одна неродящая яблоня и две ракиты – к реке сбегает из села скотный проулок. Он взрыт глубокой извилистой бороздой иссохшего весеннего ручья, и на солнышке борозда слепяще сверкает промытым песком, осколками радужных стекляшек, гольщиками. Я сижу на теплой раките, обсыпанной желтыми сережками и полусонными пчелами. Мне нужно срезать черенок толщиной в палец и длиной в пять. По черенку надо слегка потюкать ручкой ножа. Тогда кора снимется целиком и получится дудка-пужатка. Я режу ветку и давно слышу звонкий, протяжно-подголосный зов:

– Санька-а! Санька-а, чтоб тебе почечуй вточился-а!

Это кличет меня тетка Егориха. Я унес из хаты ножик, а ей нужно чистить картошки на похлебку. Как только стихает теткин песельный голос, сразу раздается другой – резкий, торопливо-крякающий:

– Дяк-дяк-дяк!

Это дразнит тетку дядя Иван, Царь по-уличному. Он стоит на крыльце хаты, обратив к тетке оголенный зад и придерживая портки обеими руками. Царь у нас шалопутный, тронутый, и оттого мы, может, самые что ни на есть бедные в селе – работать-то некому и не на чем. Тетка Егориха не доводится мне родней, а Царь доводится – он брат моей помершей матери. Отца у меня тоже нету – сгиб в гражданскую.

– Санька-а!

– Дяк-дяк-дяк!

Я не откликаюсь и режу ветку – будет дудка-пужатка как ни у кого. По проулку к реке большой-большой мужик ведет в поводу жеребца. Потом, не скоро, я увижу еще таких лошадей в Ленинграде – литых из бронзы, в памятниках. Жеребец черный, как сажа, и сам мужик тоже черный – борода, непокрытая голова, глаза. Белые у него только рубаха и зубы. Это сосед наш Мотякин Максим Евграфович – Момич по-уличному. Напротив ракиты, где я сижу, он сдерживает жеребца и говорит мне всего лишь одно слово:

– Кшше!

Так гоняют чужих кур с огорода, и я мигом съезжаю по стволу ракиты и бегу к хате.

Это незначительное происшествие врезалось в мою память необычно ярким видением, и с него мы оба ведем начало нашего «перекрута», – мне тогда было десять, а Момичу пятьдесят. Тогда мы как бы одновременно, но на разных телегах, въехали с ним на широкий древний шлях, обсаженный живыми вехами наших встреч и столкновений. Момич громыхал по этому шляху то впереди меня, то сбоку, то сзади, и я никак не мог от него отбиться, вырваться вперед или отстать...

То лето было для меня самым большим и длинным во всем детстве, – я многое тогда подглядел и подслушал.

Вот Момич пашет наш огород. Жеребца держит под уздцы Настя – дочь Момича, а сам он одной рукой натягивает ременные вожжи, а второй ведет плуг. Мы с теткой ходим по синей борозде и сажаем картохи. Жеребец, завидя за версту проезжающую подводку, ярится и встает на дыбки. Настя отбегает в сторону и стыдливо отворачивает лицо. Момич осаживает

ваит жеребца, заходит к нему в голову и кладет ладонь на малиновые жеребьячи ноздри. Тетка роняет лукошко и аж поднимается на цыпочки – ждет несчастья. Дядя Иван высовывается из-за угла сарая и злорадно кричит: «Дяк-дяк-дяк!» – но жеребец мурлыкает, как кот, и затихает, а Момич коротко взглядывает на тетку, и она делается прежней. . .

Вот в теплых и мягких сумерках вечера за три дня до Пасхи Момич приносит нам полмешка вальцовки и завернутый в холстину свиной окорок. Ношу он кладет на крыльцо и молча идет со двора. Тетка прищемляет дверь хаты щеколдой, чтоб не вылез дядя Иван, и мы с нею тащим мешок в сени – там стоит сундук, но Царь выскакивает через окно, догоняет Момича и под «дяк-дяк» бодает его головой в спину. Момич негромко хохочет и не оглядывается, и от этого его смеха в темноте мне становится немного страшно. . . Мы спим с теткой в сенцах. Нам обоим долго не засыпается – я прислушиваюсь к звукам с улицы, а она не знаю к чему. Возле Момичевых ворот, на бревнах, гомонят девки. К ним должны прийти ребята с того конца. Перед глазами у меня плавают голубые шары – я изо всех сил таращусь в темноту, чтоб не заснуть. Радостно, как канун наступающего праздника, вливается в меня отдаленный рип гармошки:

Тури-рури, тури-рури,
Люли-лили, пиль-пиль!

Я сползаю с сундука, а тетка шуршит в своем углу соломой и счастливым голосом тихонько ругается:

– Ну куда ты, окаянный!

Смешная она у меня, тетка Егориха! Сама небось тоже сейчас подхватится, а в сенцы вернется, когда я буду уже спать. Я не знаю, где она тогда бывает, только нам с нею нравится все одинаковое – звезды, гармошка, карагоды, наступающие праздники, запах кадила в церкви, богородицына трава на полу хаты, и чтобы на дворе всегда было лето. Тетка, наверно, уже старая, но лучше и красивее ее других людей на селе нету!

Я крепко люблю ее, и она меня тоже. . .

Момичевы ворота высокие, прочные и гулкие, как пустой сундук, на котором я сплю. Возле них, у плетня, лежит штабель толстых бревен. По вечерам тут всегда пахнет калеными подсолнухами, земляничным мылом, конфетами и еще чем-то непонятным и тревожным – девками, наверно. Они крепко и чинно сидят на бревнах, и к каждой на колени примостился кто-нибудь из ребят с того конца. Гармонист Роман Арсенин сидит у Момичевой Насти. Склонив кучерявую голову к подголосной части гармошки, он старательно выводит плакуче истомное страдание. Изнуренный и заласканный тихими всплесками мелодии, я гляжу только на одного Романа. Все в нем чарует меня – хромовые сапоги с калошами, скрипучая кожанка, галифе, полосатый шарф. . . С клавиша его гармошки отскочила черная пуговка, и вместо нее Роман прибил гвоздиком белый гривенник, не пожалел. . .

Тури-рури, тури-рури,
Люли-лили, лель-лель!

Рядом со мной на самом краешке бревна сидит Серега Бычков. Он тоже с того конца, но к девкам не подходит – знает, что они его не примут. Ростом Серега чуть побольше меня. Сапог у него сроду не было, не то что кожанки или галифе. Серегина мать – Дунечка Бычкова – почти каждый день побирается на нашем конце. За нею, говорят, гляди да гляди: то просыхающую рубаху стянет с плетня, то еще что-нибудь. Только у нас Дунечка ничего не крадет. Тетка сама дает, что есть.

У Сереги что ни слово, то матерщина. Я знаю, зачем он говорит при девках такие слова – от злого стыда за свою мать-побирушку и за себя. Его и кличут-то не по имени, а Зюзей. Плоше не придумать.

Гармошка ноет и ноет. То дружно-слаженно, то вразной девки жалостно «страдают» про любовь, а Зюзя вертит головой то вправо, то влево и вдруг сообщает на крике не в лад с гармошкой:

Как у нашей Насти
Д-нету одной снасти!

Роман Арсенин, не переставая играть, воркующе смеется, а Настя поет сильно и чисто:

Пойду в сад-виноград,
Наломаю-маю!
Я такую сволоту
Мало понимаю!

В ответ Зюзя кричит смешную и непутевую частушку про всех девок с нашего конца. Тогда с заливом, обидой и мстостью в голосе Настя выговаривает в отместку:

Задавака, задавака,
Ты не задавайся!
Бери палку на собак,
Иди побирайся!

От этой Настиной присказки у меня пропадает охота сидеть на бревнах. Мы ведь с теткой Егорихой тоже не богачи, хоть и не побираемся, – Момич все сам дает нам под праздники. Зюзя словно чувствует мое настроение. Он пододвигается ко мне и, будто ему весело, спрашивает:

– Закурим, шкет?

– Давай, – соглашаюсь я и называю его по имени. Курить мне не хочется – у Зюзи самосад, а не папиросы «Пушки», как у Романа Арсенина. Те здорово пахнут. Но я курю за компанию с Зюзей, потому что мне жалко его. Зря он кричал про Настю. Самому же теперь хоть провались, и я шепотом соучастно спрашиваю у него, какой это снасти нету у Насти?

– Да левой титьки, – умышленно громко говорит Зюзя. – Вместо ее, сохлой, она очески носит...

Я не много уразумел в этом, а подступавшие праздники совсем вытеснили из моей памяти Зюзины слова: надо было шелушить лук, чтобы красить яички, помогать тетке таскать муку из сундука, лепить из пахучего сдобного теста завитушки и крестики на макушку кулича. Дядя Иван на это время присмирел, не шалопутил и только один раз спросил тетку:

– К свадьбе готовишься?

– Ага, – весело согласилась тетка. – Дунечку Бычкову за тебя будем сватать!..

Мы с теткой перемигиваемся и хохочем, потом я бегу в лозняк на речку за сухим хворостом. В лозняке не просох и не потрескался ил половодья, и в него туго и щекотно погружаются ноги по самые щиколотки. Я ломаю сухостой и бессознательно кричу все, что кричал на улице Зюзя про Настю и про всех девок с нашего конца. Я выкрикиваю это раз десять, пока не замечаю Настю. Она стоит на берегу речки с пральником в руках, а возле нее на травяной гривке лежит горка выстиранного белья. Я приседаю за ракитой, а Настя чего-то ждет, потом окликает меня негромко и почти ласково:

– Ходи-ка сюда, Сань!

– А зачем? – спрашиваю я.

Настя за что-то не любит тетку Егорику, а заодно и меня. Тетка говорит, что она вся в мать свою покойницу – некрасивая и кволая, хотя Настя вылитая Момич. Недаром я побаиваюсь ее.

– Ходи, не бойся. Ну чего спрятался?

Мне не хочется выходить из-за укрытия, – от ракиты до Насти шагов десять, и если она вздумает надавать мне, я убегу и даже хворост захватить успею. Но Настя не собирается ловить меня. Она отбрасывает пральник, поворачивается ко мне спиной и начинает раздеваться. Я зачем-то обхватываю руками ствол ракиты и перестаю моргать, – Настя стоит вся как есть белая, статная и большая.

– Слышь, Сань! Покарауль одёжу, пока я искупаюсь, – ознобно говорит она и сигает в воду.

– Застынешь, шалопутная! – испуганно кричу я, но Настя не слышит. Она дважды окунается по самые плечи, коротко и обомлело вскрикивает и карабкается на берег. Я бегу к ее одежде и хватаю всю в охапку, чтобы подать ей.

– Ой, скорей, Сань! Ой, закалела!..

– Дура такая! – говорю я и смятенно гляжу на круглые и смуглые, торчащие кверху Настины груди.

Потом, много лет спустя, я понял, какой ребячьей услуги ждала тогда от меня Настя, но о том, что я видел, как она купалась в ледяной воде, никто не узнал. Ни Роман Арсенин, ни Зюзя...

Как мы и загадали с теткой, Пасха тогда выдалась теплая и погожая. Мы разговлялись поздно, – тетка вернулась с куличом чуть ли не в полдень: наверно, лазала на колокольню, чтоб потрезвонить, а может, картины разглядывала в церкви. Все это она любит. Хорошо, потому что и страшно. Мы похристосовались, уселись втроем на одной лавке, и тетка развязала на куличе рушник. Кулич сидел на столе, как наша камышинская церква, когда глядишь на нее издали: горит вся, сверкает и приманивает.

– Красивше нашего не было, – сказала тетка. – Все завидовали!

Еще бы! На макушке нашего кулича места пустого не осталось, – так мы его разукрасили. Мы сидели притихшие и согласные, – всего ведь было много: вкусной еды, целой недели праздников, вслед за которыми сразу же наступит лето. После того как мы съели по большой скибке кулича, тетка пошла в сенцы и принесла бутылку водки, настоящей на меду, – давно, видать, берегла для чего-то, да и не вытерпела. Из щербатой фаянсовой чашки сперва выпил дядя Иван, потом тетка. Она собиралась уже налить немного и мне, но в это время в хату степенно и неслышно вошла Дунечка Бычкова.

– Христос воскрес! – протяжно произнесла она и поклонилась.

– Пошла, пошла, дура! Ходишь тут! – отозвался дядя Иван, а Дунечка миролюбиво и пьяненько сказала:

– Сам ты дурак! В божий день – и такие речи... Давай-ка вот похристосоваемся!

Она вынула из-за пазухи красное яйцо, поиграла им перед глазами и пошла к дяде Ивану, сложив в трубочку губы. И тогда я захохотал первый, а за мной и тетка, – мы вспомнили позавчерашний разговор насчет свадьбы. Дядя Иван вскочил и по-бабски сжатым кулаком неумело и слабо ударил тетку в плечо. Дунечка сразу же кинулась из хаты, а тетка поднялась с лавки и спокойно сказала:

– Ох, гляди, Петрович, беду на себя не накличь!

Она стояла и ладонью поглаживала, будто очищала то место на плече, где пришелся дядин кулак.

– А чего? Ему пожалишься? – злобно спросил дядя Иван, и я решил, что это он обо мне.

– И пожалюсь! – с вызовом сказала тетка.

– Ты больше не бейся! – похолодев от решимости, пригрозил я Царю и пододвинулся к тетке.

– Подколодники! Змеи! – выкрикнул дядя Иван, сронил голову на край стола и визгливо заголосил. Мне хотелось схватить веник или что-нибудь другое, нетяжелое, и надавать ему, чтоб не придурился! Я ни разу не замечал, чтобы дядя Иван шалопутил один, когда на него никто не глядел и сам он не видел Момича. Только при нем – вблизи или издали – он кричал «дяк-дяк» и расстегивал штаны, а зачем это делал – никто не знал. И сейчас за столом возле кулича Царь голосил не взаправду, а нарочно, всухую, и мне хотелось надавать ему так, чтобы знал и помнил. Но мне было жалко его – слаборукого, встрепанного, не похожего на мужика. Видно, тетка тоже пожалела его, потому что вздохнула и сказала:

– Глаза б мои не глядели!

Как только мы с теткой вышли из хаты, дядя Иван затих. В сенцах я присел на корточки, заглянул в полуоткрытую дверь и увидел, как он подтянул к себе кулич и с мстительной деловитостью сломал верх со всеми украшениями. Потом он налил в чашку водки, выпил, сморщился и, прежде чем закусить, погрозил верхушкой кулича в сторону Момичевой хаты...

Тетку я нашел на бревнах у Момичевых ворот, – там уже сидели соседские бабы. В белом новом платке, острым шпилем торчащим над сияющим лбом, в розовой кофточке и черном саяне, тетка была похожа на чибиску, а все другие бабы – на ворон: сидят, лузгают подсолнухи и молчат. Тетке же ни минуты не сидится смирно, хотя у нее полный карман тыквенных зерен.

– Всю макушку разорил. Ломает и трескает! – шепотом сообщил я ей о куличе. Она притянула меня к себе и сказала на ухо:

– Пускай подавится им! Возьму завтра и другой затею.

– Тот будет не свяченный, – сказал я.

– А мы с тобой сами освятим. Воды из колодезя принесем, кропильник из чистой старновки свяжем... А Царя молитву творить заставим... – и тетка залилась озорным смехом, как маленькая.

К кооперации, где уже со вчерашнего дня стояли карусели, мимо бревен шли и шли разряженные парни и девки. Настя тоже проплыла мимо нас как пава, и тетка, присмирив, долго глядела ей вслед, сощутив глаза. А потом из ворот на улицу вылетел Момичев жеребец, запряженный в бочку-водовозку. Сам Момич стоял на выступах оглобелей позади бочки. Заваливаясь назад, чтобы сдерживать жеребца, землисто-серый в лице, Момич был страшен и пугающе притягателен в своей пламенной атласной рубахе навывпуск, клубом вздыбившейся на спине.

– Горю! – коротко и густо крикнул он неизвестно кому и гикнул на жеребца. От улицы проулок круто сбегал вниз, к речке, и по этой крутизне жеребец пошел галопом. Момич сначала пригнулся, а затем плашмя упал на бочку. Нельзя было ничего различить – где бочка и где жеребец, потому что все слилось в один грохоткий смерч, расцвеченный красным и черным. Вдогон ему, раскинув руки, медленно двигалась тетка, то и дело останавливаясь и приседая, будто готовясь словить цыпленка. Но как только жеребец врезался в береговой лозняк, а Момич поднялся во весь рост и откинулся назад, повисая на вожжах, тетка подхватила подол саяна и побежала к речке, выкрикивая что-то звонко и тоненько. Я зачем-то подождал, пока она скрылась за кустами ивняка, и только после этого оглянулся на Момичеву хату. Из-за нее, с огорода, на улицу грузно наплывал золотисто-желтый буран дыма. Я побежал на огород через свой двор и за углом сарая, в прошлогоднем иссохшем бурьяне, увидел дядю Ивана. Он сидел на корточках, низко пригнувшись, и просветленно, почти зачарованно глядел вверх, на столб дыма: над его вершиной и сбоку трепетно вились сизари, – их страсть сколько водилось в Момичевой клуне.

Это она и горела. С обоих углов, обращенных к нашей меже. На недавно посеянной нами картошке толпился веселый и по-праздничному разнаряженный народ. Огня не было видно, валил только дым, но он сразу же пропал, как только пламя с гулом выбилось из-под повети

и охватило солому крыши. Тогда и подospel Момич. Не слезая с закорков бочки, он натужно обвел взглядом полыхавшую клуню и ударом ноги вышиб из бочки кляп. Круглая радужная струя воды с визгом вырвалась и вонзилась в землю, буравя воронку, и Момич глядел только на нее и ни на что больше.

– Ничего не поделаешь, Евграфыч! Должна сгореть вся как есть! – утешил его кто-то из мужиков. Момич будто не слышал. Он подождал, пока вода вытекла из бочки, тронул вожжиной жеребца и медленно поехал с огорода к себе во двор.

Через час от клуни остался чадящий ворох золы, и люди разошлись, недовольные скоростью пожара. Я поднял грудку чернозема и швырнул в середину вороха.

– Не замай! – властно сказал у меня за спиной Момич, и я забыл, что умею бегать. Момич был все в той же красной рубахе и высоких яловых сапогах. Он обошел меня, остановился у обгорелой притолоки и проговорил непонятное:

– Та-ак... Выходит, дурак-то мал, да в две дудки сыграл...

Я пошел домой. Мне было обидно, что пожар случился в праздник, когда и без того забав у людей сколько хочешь. Да и тетка не видела его. Она чуть не до вечера пробыла на речке, – хотела, видно, поглядеть, как Момич во второй раз помчится за водой...

Может, это только наши камышане такие – в праздники аж охрипнут от песен, друг друга по отчеству величают и в гости закликают кого ни попало, а потом недели две ходят, будто у них коровы подошли. Зато дядю Ивана тогда как подменили. У него не исчез тот просветленно радостный взгляд, каким он следил из бурьяна неделю тому назад за полетом голубей над Момичевой клуней. Он даже покрикивать стал на тетку, и она удивленно вглядывалась в него и молчала.

Момич – этот сроду не был разговорчив, а после пожара совсем стал как черт – сердитый, черный. На Красную горку он с самого утра начал возить на огород бревна, что лежали на улице, – новую клуню затеял ставить. Тетка раза два украдкой выглядывала в окно, тревожась чего-то, и дядя Иван, боевито стерегший ее, приказал:

– Чего зыришь? Обернись спиной к окну и сядь на лавку!

– А пропади ты пропадом, дурак! – с горькой силой проговорила тетка и пошла из хаты. В окно я видел, как она сказала что-то Момичу издали. Тот выпрямился, остервенело плюнул и спихнул с повозки на землю длинное и толстое бревно – то самое, на котором по вечерам сидели девки. А в полдень Момич взял и срубил дуб, что стоял на его огороде повыше сгоревшей клуни. На нем водились грачи, и я пошел поглядеть, что сделалось с детвой, – побилась небось. Дуб был уже очищен и лежал коричневый и пахучий, как опаленный боров. Момич поддел колом тонкий конец его и одним рывком посадил на подушку задних колес повозки. Я не отважился подойти поближе и присел на своей меже, – мне и оттуда было слышно, как сипели граченята под обломками сучьев.

Момичу не удавалось уложить на передок повозки толстый конец дуба: он был склизкий, неухватистый, и кол под ним зарывался в землю. Тогда Момич, не замечая меня, отшвырнул рычаг, приник к дубу и обнял его руками. Я поздно заметил, как приподнялся над землей комель дуба, потому что смотрел на спину и плечи Момича, – там у него под белой замашной рубахой медленно стали расти и шевелиться круглые клубки.

– Скорей... кол подсунь! – не подымая головы, удушенно крикнул Момич, но я не понял, кого и о чем он просит, и не сдвинулся с места. Момич выронил дуб, оглянувшись зачем-то по сторонам и сказал мне укоряюще:

– Что ж не подмогнул? Неш так делают по-соседски!

Я схватил кол и подбежал к дубу. Момич поплевал на руки, потер их и наклонился к бревну. Я приготовил рычаг, но против воли смотрел не на дуб, а на спину Момича, – там опять

вздулись и бурно взыграли под рубахой округлые клубки, а шея набрякла землисто-малиново и укоротилась так, что почти пропала совсем.

– Ну? – рявкнул Момич, и я сунул под дуб кол и отскочил в сторону. Момич бережно опустил на рычаг дуб, выпрямился и сказал:

– Да и разиня ж ты, Александр!

Я тогда впервые узнал, что это – мое имя.

Новую клуню Момич поставил за какую-нибудь неделю или полторы, и все эти дни я провел с ним. Он, наверно, залезал на стропила затемно, а я приходил попозже, взбирался наверх и там торопливо и трудно умнел, потому что Момич работал и молчал, и я должен был угадывать, когда подать ему расщепленную ольшину – лату, когда буровец и топор, когда деревянный гвоздь, похожий на кляп от бочки: ими он крепил латы к кроквам. Все, что переходило из моих рук в Момичевы, мгновенно и странно оказывалось для меня непомерно большим и ценным, исполненным непонятного значения и смысла. Это, видно, происходило оттого, что Момич забирал вещи каким-то обхватно-емким и властным движением обеих рук, забирал полностью и навсегда.

Все в нем покоряло и приманивало мое ребячье сердце. За эти дни там беспорядочным ворошком накопилась неосознанная обида за его прежнюю суровость ко мне и ревнивое желание завсегда водиться с ним, быть у него на виду замеченным и привеченным. Он, наверно, догадывался об этом, потому что нет-нет да и ронял какое-либо слово. Я отвечал ему десятью.

– Ну и балабон! В кого ж это ты удался такой, а? – спросил он меня однажды. Мне почему-то показалось, что ему хочется, чтобы я сослался на тетку, и ответил:

– Знаю в кого.

– В кого ж это?

– В тетку Егориху.

– Жалеешь небось ее?

– А то нет!

Момич на минуту задумался, медленно оглядел сады Камышинки и проговорил не в связь с прежним:

– Рясно нынче вишник цветет.

Несколько погодя, он послал меня за водой – «холодничку захотелось», и я побежал с ведрами к колодцу, а когда вернулся, то еще издали увидел под стропилами клуни дядю Ивана. Он стоял, задрав голову, ожидая чего-то от Момича, а тот несокрушимо сидел наверху, работал и молчал. Дядя Иван посеменил ногами и визгливо крикнул:

– Отстань, говорю! А то недолго и нового петуха подпустить.

Момич по обух вонзил лезвие топора в матицу и потерянно сказал, словно попросил:

– Ты в другой раз не дури, Иван. Слышишь?

– Вот и отстань! – окреп голос Царя.

– Не дури, – опять попросил Момич. – А то... знаешь?

– Что будет?

– Худо.

– Кому?

– Заднице твоей, – прежним увещающим тоном сказал Момич. – Поймаю и...

Он не договорил, заметив меня, и взялся за топор. Дядя Иван собрался было расстегнуть штаны, но раздумал, погрозил мне кулаком и поплелся домой. Я влез с ведром наверх, подождал, пока Момич напился, и спросил:

– Чегой-то он хотел?

– Кто? – непонимающе взглянул на меня Момич.

– Дядя Иван, – сказал я.

– Да это он так. Жалился тут мне... Ему, вишь, не к рукам цимбала досталась, – непонятно ответил Момич и кивнул на сады. – А вишник хорошо нынче цветет. Ты погляди-кась!
– Рясно! – сказал я.

В полдень мы покидали клуню и шли к Момичу обедать. Прежде чем попасть во двор, нам приходилось миновать крошечный Момичев сад, огороженный высоким сухим тыном. Там стояли три сизых улья – колоды, и на одной из них был вырезан борогато-лобастый мужик, до капли похожий на самого Момича. Выходившие на огород ворота, сколоченные из толстых сосновых плах, висели на приземистой круглой верее, тоже чем-то напоминавшей Момича. Сразу же за ними меня обдавало прохладой чистых закут и оторопью, – тут опять все походило на хозяина: черный кобелина на длинной привязи, черный молчаливый петух, презрительно глядевший круглыми желтыми глазами, бурдастый черный бык-двухлеток, приветно укладывавший голову на варок при подходе Момича. Меня пугала величина вилок – об двенадцати рожках и с такой ручкой, что она годилась бы на оглоблю, удивляла строгость и подобранность всего двора – тут не было того вольного запустения и той первородной гущины калачника и крапивы, к которым я привык у себя.

К нашему приходу Настя выносила из чулана чистый рушник, и мы возвращались на крыльцо. Там над лоханью я поливал Момичу из большого самодельного ковша-утки. Его как раз хватало ему на одну пригоршню. Перед тем как сесть за стол, Момич взмахивал рукой на единственную икону Николы Чудотворца, садился в угол и оберучь брал со стола огромную чисто ржаную ковригу. Ребром установив ее себе на грудь, он под свой облегченный вздох вонзал в испод хлеба ножик. Скибки выходили через всю ковригу. Настя сажала на стол деревянную миску с лапшой, и мы начинали есть – неторопливо, навально. Я всегда садился напротив окна, глядевшего на наш двор, и все время стерег тетку: мне хотелось, чтобы она увидела меня тут, у Момича. Момич, исподтишка следя за мной, тоже начинал кренить голову вбок, заглядывая в окно, а Настя тогда хмурилась и резко, со стуком, клала на стол ложку. Момич отрывал лицо от окна, круто вскидывал глаза на Настю и спрашивал угрожающе и заботливо:

– Никак обварилась?

– Как огнем обожглась, – подтверждала Настя.

– А ты дуй. Вот как я... али он, – серьезно советовал Момич и сам протяжно дул на ложку, и я дул на свою вслед за ним.

После клуни мы с Момичем справили вместе не одну и не две работы: вывезли с его двора навоз, и в поле я приезжал на повозке, а обратно верхом на жеребце, уцепившись за седелку; потом взметали два загона парины – один его, а второй наш, и все время я ходил по борозде сзади Момича. Он и не чуял, что я ступал по его следам, для чего мне приходилось каждый раз прыгать, и, наверно, от этого к вечеру все мое тело гудело протяжно и отратно. Я похудел и отчего-то сильно подрос за это время, и не было случая, чтобы я проспал восход солнца, а с ним и Момича, – меня будила тетка, ей нравилось то, чем я теперь жил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.